

ВИКТОР ЛИХОНОСОВ

## ЭХО РОДНОЕ

ВОСПОМИНАНИЯ

ОСТАЛОСЬ НА ПАМЯТЬ

Ещё сочно, твёрдо держатся листья свёклы, раскрываются в холодном золоте света цветочки календулы, но вот к вечеру полетел по ветру дождь, настало в комнатах, завтра утром надо бы растопить печку. Перед сном перебирал газеты, косился на телевизор и, притомившись, подумал: многого уже никогда не прочту, а телевизор включать больше не буду. Хорошо сидеть в тишине в хате и не бесить душу ничем посторонним. Пусть киснут дожди, падает снег, устрашают морозы: может, побольше прочту священных книг, да и сам что-нибудь напишу.

Но утро развиднялось ласково, проглянуло солнышко, и опять посвежели листочки календулы, и соком наливались листья свёклы.

Я пошёл к морю. Тишина садов и огородов несравнима со смиренным одиночеством воды и неба; но тишина звучит своей немотой так музыкально, прощально, а уж дальняя тишина у тёмной косы на западе ещё загадочней, нежнее. Тишина всегда куда-то зовёт, проникает в наши тайные воспоминания, считает наши годы, потери, приближает друзей и любимых. Я ухожу, услышу стук в чьём-то дворе, голоса, шум машин у дороги, а на берегу нетронутой вечностью будет держаться молчание.

Ночью ярким появится месяц над садом, и, когда я пойду спать в хату, он уже обойдёт трубу, высокий орех и повиснет над камышом за соседским огородом.

А матушка не встанет с койки, не пройдёт по двору к кухне и не скажет, как раньше: “Там пирожки под полотенчиком. Не хочешь с чаем?” Лежит она в своей комнатке и страдает, терпит, не жалуется. Войду, наклонюсь к ней, она по-родному погорюет со мною взглядом, даже как будто повинится, что такая беспомощная.

### ДЛЯ СЕБЯ

Господь послал мне два редких счастливых дня.

До обеда посидел вдоволь перед маленьким окошком в сад, почитал “Словарь XI-XVII вв.” и пожалел на минутку, что нету на столе пишущей немецкой машинки “Мерседес”, на которой я выстукивал когда-то роман. Опять хочется заниматься письменным делом, к вечеру вылёживаться

с книжкой, с тем же “Словарём”, в котором обязательно найдётся что подчеркнуть с умилением.

“По осьмогласному поют...” (“ангелодобное пение, изрядное осьмогласие”). Так бы и словами пропеть, да не складывается. Представить когда-то не мог, что редкостью станет не тягучее моё житие в Пересыпи, а путешествие сюда — всего-навсего!

Снова рябит двор под деревьями и виноградом, вижу старые знакомые дорожки, заборы, двери, вылазку в сад, камыш за огородом. Снова передо мною великий этот “Словарь”, вот перевернул листик и выделил строчку, тотчас почему-то вспомнил дальнего друга: “Оскудеете очи мои слезами” и далее: “Аще бо оскудеет разумом во старости отец ваш или мати ваша, не бешествуйте его, не укоряйте”. Подчёркивал это 5 ноября 1997 года, когда мать моя лежала больная пятый месяц. Вдруг пугливо вздрогнул и сказал себе: “Надо побережься и поскорей дописать, заполнить амбарные книги, поставить точку...”

Буду ещё несколько месяцев в хатке с белым низким потолком теснее жить на бумаге со всеми, кого нельзя позабыть, потом уж воспоминания станут летучими искорками...

О Господи...

## НЕ ОТВЕРЖИ МЕНЕ ВО ВРЕМЯ СТАРОСТИ

Не могу найти пластинку, которую купил и подарил мне в 70-м году в Вологде Василий Белов.

— Когда станешь, — сказал, — стариком, слушай и молись. Древние распевы, от них отстал русский человек. Тут и Максим Березовский, Бортнянский и другое...

Неужели подоспели и мои прощальные сроки?

— Как бы я хотел сейчас, в этот морозный день, сидеть в маленькой моей хате в Пересыпи, в комнатке с тремя окнами на улицу и одним в сад, читать письма Константина Леонтьева к Тertiю Филиппову и к матери Федосье. Старой печки, топившейся углем и дровами, нет, вместо неё стена с газовой заслонкой, я поджжёт бы, стена нагрелась, и в глухой тишине читал бы, что-то выписывал, потом писал своё. Матушка смотрела бы на меня со стены.

Даже этого покоя я лишен. Там, в огороде и в саду, тоскуют по мне деревья. Прозябаю в городской квартире и нечаянно слушаю музыкальные изобретения Бориса Гребенщикова, который всякими “слоями” зачислен в гении.

И только вишнёвая настойка утешает меня.

Я звоню художнику, который принёс мне бутылочку. “Вам на тихую праздность”, — сказал он с улыбкой.

— Это сравнимо... — поблагодарил я его, — ...это сравнимо с картиной Тициана или Караваджо.

Лестная моя шутка понравилась ему, и он подарил мне ещё одну бутылочку посолидней.

А в телевизионном окне долго торчал бородатый гитарист, пел и не стыдился своих мёртвых сочинений.

Эх, если бы занесло меня мгновенно в Пересыпь, и я там в углу отыскал пластинку с записями хора Юрлова, давно умершего, то послушал бы я распев Березовского “Не отвержи мене во время старости”.

И взял бы я с собой “Старческие советы подвижников благочестия”. Как только разверну её, архимандрит Феофан Новозерский благословляет меня мудрым напутствием: “Жизнь духовная должна быть проста, чистосердечна, кратка, благопокорлива, и паче смиренна”.

Тишиной и покорностью покрыты двор и огород, протока и очертание горы Бориса и Глеба на краю неба.

Ходить бы по берегу и по огороду медленно, подолгу лежать на диване с книгой, слушать распев Максима Березовского “Не отвержи мене во время старости”.

## НЕЧАЯННАЯ СУДЬБА

— Вот мимо этих станиц мы с Ольгой везли свой чемодан в хутор Новоокровский... Эти же извилистые горные полосы слева за Северной, Холмской, Ахтырской напоминали о Кавказе, о том, что за ними спряталось Чёрное море. Каждый раз тихо, затаённо волнуясь. Горы как бы укалывают мою память: ну, ну, обернись... Где тот ваш чемодан? Какой была тогда твоя молодая жена Ольга? Почему вы ехали робко, словно вас куда-то выслали в наказание? Ехали и не знали, что с вами будет, а теперь чего ждёте? Мы тоже постарели, но это никому не заметно.

Василий Иванович, украшенный тонкими усами, с улыбкой слушал меня, не перебивал. Я больше ста вёрст громко припоминал что-нибудь, а то, о чём промолчал, и не выразишь, оно протечёт в тебе струйкой и осядет куда-то в глубину. Я привлекал внимание товарища к какому-нибудь повороту, к старому проезду через железную дорогу, к пустому углу, где когда-то стояло нечто примечательное. Забытая мною в свежих днях моя жизнь вынималась отовсюду, на что глядел я когда-то, мимо чего проезжал-проходил.

Всегда я в таком пути дивлюсь тому, что случилось со мною, что уготовил мне Господь заранее, но я ещё не знал.

— Спуск к Адагуму всегда волнует... Крохотное селение.

Торговые прилавки под укрытием сбоку дороги были, кажется, всегда. Они пустые и как-то особо щемят: кто-то оживляет их собою не каждый день с утра и бросает. В архиве есть “дела” Адагумского полка, не тут ли и были стычки с черкесами? Как неизвестна была в ту осень моя судьба. Начиналось наше учительство. В селе. И до каких пор? Так и суждено закопаться в каком-то хуторе? Кто вытащит? Мы ещё об этом не думали. Знали лишь, что придётся привыкать к незнакомым людям и отбывать сорокапятиминутные уроки.

Адагумская низина с жильём по сторонам от дороги тоже могла стать первой моей учительской пристанью, но что-то поберегло меня для литературы.

— Вон башенка с часами. Самодельного мастера. Также памятник моей сельской жизни. Сейчас будет поворот на хутор и чуть впереди — проезд, будочка, шлагбаум на железной дороге. Дальше начинается Варениковская. Сколько потом ни проезжал — душа почему-то грустила. Пешком ходил из хутора в станицу. Учитель. И не подумывал стать литератором. Сразу как-то смирился, что отныне мне суждено проверять школьные тетрадки.

— О рассказике каком-нибудь не думали? Стихов не писали?..

— Что ты, что ты... Читал только. В станице купил журнал “Знамя” из-за рассказа Юрия Казакова “Вон бежит собака”. Певучий талант его понравился мне. В “Неделе”, помню, Паустовский печатал “Наедине с осенью”. Это всё так далеко и высоко было: писатели, журналы. Где-то под небесами. Тогда вокруг самой литературы царил тихий трепет, от любимых писателей ждали обещанных вещей, от того же Паустовского ждали продолжения “Повести о жизни”, от Шолохова — “Поднятой целины”. Само слово “писатель” звучало классически, недоступно: это какие-то особые люди, почти боги. Заграничное русское было запрещено, проникало по капельке. Осенью дружок привёз мне однотомник Бунина, издательство “Московский рабочий” наконец-то осмелилось напечатать “Жизнь Арсеньева”. Но кусочек про похороны великого князя Николая Николаевича в Ницце вырезали. Кто-то потом эту реликвию у меня украл. В “Знамени” же рассказывали о себе Георгий Семёнов, Василий Аксёнов, Глеб Горьшин. Уже они взошли. Что ты... разве мог я даже прикинуть, что буду с ними выпивать в Доме литераторов, дарственные книжки принимать! Через два года поеду в Тарусу к Юрию Казакову, будем шишками растапливать железную печку с трубой и возмущаться, как Хрущёв в марте орал на писателей, на Евтушенко там и прочих. А через четыре года я уже попаду в собрание сочинений Бунина: Твардовский в предисловии к девятитому тому упомянет меня вместе с Васей Беловым и тем же Казаковым. Вот какие чудеса бывают, если их не ждёшь. Здесь ли, где мы сейчас поворачиваем, в этой ли аллее сбоку, где я на обратном пути из Варениковской пел Окуджаву (“По Смоленской дороге леса,

леса, леса, на Смоленской дороге столбы гудят, гудят”), мог я на что-то такое рассчитывать? Да ни за что. Шёл проверять тетрадки. Жили без телевизора, скучали, вечерами порою отключался свет. Луна как-то романсово светила над долиной, над дубами. Тут мы с Ольгой и сгрузились, вышли из автобуса и на этом вот, смотри, месте стали ждать попутку. Попутка приняла нас, я с чемоданом — в кузов, Ольга — в кабину.

Василий Иванович как-то заколдованно утянулся душой в моё прошлое, взгляд устремил в силуэты лесных холмов, пожил мгновение вместе со мной.

— Так нечаянно старится жизнь... — сказал я сам себе. — Была ма-тушка в Сибири. Узнает она, что есть Варениковская станица, хутор.

Уже раскрылась долина, дорога сейчас потеряется у низкого косогора, повернём, и полоса выправится прямо на хутор Свет.

— Мне подарили серебристую фляжечку, я иногда беру её с собой. Но не пустую. Не попросить ли ваше степенство, Василий Иванович, отглотнуть чарочку в честь бывшего учителя школы-интерната для умственно-отсталых детей?

Я шутил, но стало мне грустно.

— Учитель этот не знал, что когда-то на этом же повороте, у которого он всегда закуривал и, выкликая отовсюду из городов друзей, считал их счастливей, да, на этом месте будет дразнить стопочкой коньяка художника, педагога в инвалидной студии ещё не родившегося Василия Ивановича, который повезёт его в ту же школу, но уже со здоровыми детьми на... коронование.

— На присвоение этой школе имени писателя...

Мы помолчали. Я спрятал фляжечку в сумку.

— Поглядим на ту сторону. Нам можно было с трассы свернуть раньше — там над речкой (её не видно в зарослях) тоже дорога к хутору, на усадьбу и дальше к улице с домами. Ещё недавно турки-месхетинцы жили. Хутор Микояна был. Такое же небо. Такое же широкое поле. И ощущение то же: кто-то там живёт. Тут я ходил. Из хутора в станицу и назад. Всегда ждал меня этот поворот. Обойдёшь косогор, и всё видно до первых хат хутора Свет. Душе одиноко. Мать в Сибири. Друзья далеко. Только что учился, ночевал в общежитии. Театры, шум, огни. И вот тишина, поле, теперь будешь жить тут. Ольга моя присмирела. Было это при Хрущёве. Помню, Хрущёв Сталина вынес из мавзолея. Во Франции был генерал де Голль, в Америке — Кеннеди, в Англии, кажется, Макмиллан. Нас направляли в Чечню, мы съездили в Грозный, побывали в Шали, там, где при Ельцине творилась заварушка, но мы в Чечне почему-то не понадобились, нас отпустили, и я помню — возвращались назад, и я в “Иностранной литературе” читал “Опасное лето” Хемингуэя, тогда им увлекались всею. Матушка Ольгина по каким-то связям пристроила сюда, в эту благословенную долину. Мне, как оказалось, на литературное счастье. А могло быть разное. Тогда могли послать и в Среднюю Азию, и на Кавказ, и не было бы у меня Терентия Кузьмича и Марии Матвеевны, и, ей-Богу, мне кажется, не пропелось бы у меня никогда так, как на четырёх страничках о них, и, главное, не вынесло бы меня вверх, пропал бы я в учительстве с тетрадками и ма-тушку бы в Пересышь не перевёз. Другая бы судьба была. Только раз или два пролегла бы для меня дорога в Тамань. Вот, Василий Иванович, куда ты меня везёшь.

С левой стороны кудрявой стеной закрывался хутор Новопокровский. А мы притормозили в хуторе Свет.

— Так же мы тогда приехали. Эта же черкесская речка Псебепе про-рывалась сквозь зелень. На перекате камни видны. Перешли. Слева поле, прямо вдаль белый магазин, в стороне усадьба, повыше гористый лесок и справа начало хутора. Роскошные дубы у дороги я увидел потом. И над хутором тоже.

И чувство не отстает: чужое место, чужие люди, появились мы на ка-кую-то долю. Идём к дому директора с белыми стенами, под старым дубом. Ещё не знаем, что досталась нам бывшая усадьба графа Сумарокова-Эль-стона, Наказного казачьего атамана при государе Александре Втором,

а дом директора занимал управляющий именем, а школа — наверное, для самого графа. Потом, когда буду писать роман о Екатеринодаре, я немножко кое-что раскопаю. А тогда говорили так: “какой-то помещик владел”. После революции всё позабыли. “Теперь господ нету”.

Василий Иванович осторожно тронулся с места, и мы потянулись дальше. Я после не раз приезжал сюда к брянским старикам, так что особого удивления не испытывал, но всегда удалялся в свою первую осень и зиму и грустил.

— Хотел бы я опять пережить те первые часы в усадьбе, которая дарована была мне словно затем, чтобы я под графскою тенью проникся судьбою царской старины и через десять лет принялся за роман “Наш маленький Париж”. Да, как будто нарочно случился такой дар.

— И ещё, — сказал Василий Иванович, — предназначалась вам встреча с брянскими стариками.

— На другой стороне Псебепса. Мы подъезжаем как раз к полянке, где я их впервые увидел. Терентий Кузьмич “скот пастевал”, пригнал на обед. Мария Матвеевна принесла ему с горки обед. А тут я иду. Можно картину писать: встреча, которая определила судьбу учителя. “Здравствуйте... — Здравствуй, добрый человек. Ты кто будешь? — А я из детдома, завучем служу. — Молочка влить тебе? Я старику своему принесла, хватит всем. Хозяйка твоя привыкла к деревне? Городские, они нежные...” Так познакомились. Мне так и кажется, что я ничем бы так не вдохновился и не было бы мне такой волшебной удачи. На юге хохлы гакают, а тут вдруг иная речь. “Я такая жыланная, последним накормлю”, “Моя жизнь далёкая и глубокая, и большая”, “Ничиво нет на свете жалчей дитя”, “Глухой не расчуит, дак выдумаит”. Заслушаешься. Я сразу загремел после рассказа о них. Иногда с ужасом думал: а если бы я не познакомился в тот день? Так бы и уехал, и брянской их речи не услышал, и рассказа не было бы. И вообще...

Я как-то испуганно помолчал, увидел себя вдалеке времени сельским учителем.

— Директор принял нас в свою семью, у него ночевали, пока нам не приготовили комнаты в длинном вытянутом жилище за колодцем с воротом и ведром на цепи. Жилья нет, снесли. С директорской полки брал подписные тома Джека Лондона, Стендаля, и ничто мне не намекало, что я сам возьмусь стряпать тексты. Теперь я боюсь за того недавнего студента, тяжёлая доля его ожидала, а тогда этот студент (я самый) далеко не заглядывал. Через месяц выписал газету “Литература и жизнь”, и глуховатый почтальон, возивший почту из Варениковской верхом на лошади, дружески протягивал её мне раз в неделю. Какая была хрупкая пора! — опять вдруг задрожит моя душа, если вспомню тот миг. Все загадочно. Уже на небесах было исчислено, что я напишу “Чалдонки”, “Люблю тебя светло”, “Наш маленький Париж”? А если бы я исчез раньше? Как зыбко все устроено.

Василий Иванович сочувствовал мне, вытерпел ещё одно моё молчание.

— Брянские старики и не подозревали, куда выпроводили они меня. Не узнал бы я близко ни Твардовского, ни Казакова, ни Домбровского, ни Белова с Распутиным, и никогда бы не сдружился с Потаниным (и учительское письмо ему побоялся бы отправить в Утятку), если бы... кхм... если бы как-то в обед не пригнал Терентий Кузьмич скотинку к речке Псебепс и не приветила словом Мария Матвеевна... Или не так? В Кремле не сживал бы в том белом зале, где хлопали Сталину. Не поднялся в Изборске на Труворово городище к кресту князя и оттуда не поглядел на съёмки “Андрея Рублёва”. Не получал бы из Парижа писем от друзей Бунина. Не разговаривал бы с Анастасией Цветаевой в Коктебеле о нашей сибирской Кыштовке, где она отбывала ссылку. В Тригорское и в Ясную Поляну не приезжал бы к друзьям. Главное же (всё повторяю) — матушка моя не жила бы в Пересыпи на улице Чапаева, 3.

Не по мелкому дну, а по крепкому мостику переехали мы всё ту же речку Псебепс, и тотчас по правую руку обнаружили в чаще дубы. Мы задержались на мгновение и молча поклонились им. Василий Иванович увековечил их щелчками фотоаппарата.

— Да ведь и мимо них ходил я... Поезжай-ка до магазина, налево и мимо директорского дома, там сбоку ещё дуб стоял, не вижу отсюда, и дальше сразу наискосок... я покажу вам мой дуб заветный.... Стой. Я пройду к нему.

Дуб стоял сбоку, тяжёлый и широкий, и одна его толстая ветка выпрямлялась к тропе в школу, висела над ней перекрытием.

— Здравствуй... — тайно откликнулась моя душа. — Всё такой же... И так же привычно мимо тебя идут, едут в хутор Микояна, к повороту на Адагум. Небось и граф Сумароков проезжал... Где он, целый век? Давно уж его забыли. Давно черкесы ушли, неизвестно, где был аул Псебепс. Всё переменилось, а ты рос на своём месте, стоишь и стоишь, как будто никому не нужный. Дай я потрогаю тебя. Спинай прислонюсь. Василий Иванович снимет.

Не говорил я так, не шептал, не думал стройно, оно всё облачком протекло надо мною, оно вынулось из долгого времени, откуда-то с небес ли, из колец самого дуба, из души моей...

— Не только князю Андрею Болконскому в “Войне и мире” можно было вздохнуть возле старого дуба, но и такому простолюдину, как я, через век, даже больше, и в таком же возрасте (двадцать пять лет) повстречать у дороги в графскую усадьбу дуб, да к тому же черкесский, свидетель покорения Кавказа. Вот. И хорошо, и грустно. Как будто и я прожил века... Вот, Василий Иванович, куда мы с Ольгой Борисовной приехали с одним чемоданом.

— А сейчас вы везёте ящички с книгами, журналами “Родная Кубань”, иконами, журналами Московской Патриархии.

— Пойдёмте в усадьбу. Нас уже ждут.

В аллее учителя и дети поднесли мне хлеб-соль. Ещё не знал я, что они будут со мной ласковыми, дадут мне свои телефоны и знаки электронной почты, будут просить меня показываться почаще.

В школьном коридоре меня встречали со стены Мария Матвеевна и Терентий Кузьмич Данькины.

На большой фотографии я стою между ними и руками оберегаю сзади их плечи.

“По осени на деревне темнеет рано, всё заметнее убавляется день. И какая запустелая тишина тогда вокруг их хатки, что стоит на горе...”

И выстроятся в спортивном зале ученики, произнесут в мою честь похвальные слова, выйду из почётного ряда и я, поблагодарю, но не смогу затронуть то, что так же, как и у дуба, протекало надо мной долгою судьбою.

После чаешития учителя провожали меня до графского колодца.

— Станьте рядышком, а Василий Иванович нас щёлкнет. Валя Данькина, ты же внучка, становись, Оля, Руфина, потеснее. Смотрите туда, где ничего нет. Шагов сорок, там мы жили. Вот как горько: там, где я читал свежие газеты, “Жизнь Бунина”, топил печку, писал жалобу на директора, курил, — пустота! Всё куда-то делось. Неужели там я писал “Девочку с персиками”? Жила-была девочка Мамонтова, и художник Серов написал её портрет. Раньше открытки стоили 3 копейки, и я купил “Девочку с персиками”, целую пачку, и любил с этих открыток приветствовать друзей и знакомых. А “Брянские” я уж под Анапой написал в конце года. И через два года перестал проверять ученические тетрадки. Вот. А о графе Сумарокове-Эльстоне мы повспоминаем, когда я приеду ещё раз. И о Лёвушке Пушкине, который, может, вон там за рекой и искал с казаками дорогу на Анапу. Господь Бог пожаловал мне эту долину, наверное, для того, чтобы я написал роман у Екатеринодаре. И... постоял с вами у колодца.

Все заулыбались и потом протяжно, ласково глядели на меня, такого почтенного старца, завернувшего к ним в простенькую глушь, а я поверх их головок видел в нынешней пустоте запущенное строение, перила веранды, окошечко, печку в комнатке, репродукцию “Моны Лизы” на стене справа от входа, стол, две тени в углу потолка, две головы — то наши с Ольгой изображения от святающейся лампы...

Я попрощался с учителями, как с сёстрами или племянницами, обнял их всех сразу, попрощался, поехал мимо бывшего директорского дома к дубу, там придержались, помолчали.

— Иногда... — сказал я Василию Ивановичу, — иногда такие, извини, персонажи, как я, кланяются своему счастью там, где когда-то, ну, очень давно, они жили ненадёжно, так себе, как трава растёт. И так бы и рос травой, если бы не... Мария Матвеевна Данькина, если бы не её брянский говорок. “Бабушкой зовут кады старая, годов девяносто”, “На крюку вясить баичка, руками бяруть и колышуть, спать будет дитёнок”.

## ВСЕГО ОДНО МГНОВЕНЬЕ

Зачем-то даны была мне не Анапа и Ейск, а Пересыпь и неоседлая Тамань... И эта усадьба графа Сумарокова-Эльстона, а по карте — хутор Новопокровский под станицей Варениковской.

Еду ли от поворота по долине, взгляну у речки Псебепс на белый магазин вдаль и через поле на взгорье с силуэтом школы, узнаю, как близких, тяжёлые дубы у дороги в другой хутор. Покажутся ли моему взору близкий лесной горизонт и смутная полоска того места, где жили брянские старики, тотчас всё сливается в шемящее мгновение, которым означилась моя жизнь в прошлый век, до конца которого было так далеко. Это я тут недолго жил и дышал. Это я тут ничего не знал, каким и когда появлюсь ещё. Это я в никуда не девшемся белом магазине, где продавали калоши, кастрюли, книги и селедку, по многу раз брал сигареты “Прима” или папиросы “Беломорканал”. И продавщица привыкала ко мне, не местному, чужому, обязанному торчать в хуторе вместе с обычными жителями. И вдруг покупатель исчез. И его тихонько позабыли.

Много лет некому будет глядеть в окно на сухой дуб в стороне от колодца, ходить к этому колодцу с ведром, слушать бабу Женю и Михаила Васильевича о белгородской деревне. Пусто и нетоплено будет в двух комнатёнках. Покроется пылью печка. Никто не постучит и не закричит у порога... От голых стен не отражались голоса, как бывало.

А разговаривали-то городские постояльцы громко, особенно горласто кудахтали вечерами друг из Москвы, завлекал всякими историями про артистов и писателей, пел песню “Снег, снег, снег за окошком кружится...”

Мы с Ольгой были довольны, что он не посчитался со временем и проведаль нас в глухом хуторе, добирался из Крыма через пролив, торопливо залез в кузов попутки, везшей бочки с селедкой, голосовал на том же повороте под Варениковской, что и мы в первый раз, “прикостылял” от речки Псебелс к нашей длинной “конюшне”. Я водил его по дороге к дубам, луна всюю светила нам, и мы возвращались, поднимались за магазином в тихий лес, ещё пошпентались на закрытом крыльечке, свет в комнате не зажигали, улеглись и заснули.

Он уже был москвич, на москвичке женился, тесть прославился аж в 20-е годы в спектакле “Дни Турбиных” во МХАТе, и мы с Ольгой слушали всё воскресенье “всякие-разные” закулисные истории про знаменитостей, кои в наши строгие годы не порхали так вольно, как нынче. Да, друг мой залетел в столицу, а мне навек корячился хутор с дубами или городишко вроде Темрюка. Но я ещё не задумывался тревожно о своей доле.

А затвердела та встреча в моей душе не разговорами о том о сём, а прощальной прогулкой по пустой дороге в Варениковскую на автостанцию и моё возвращение в хутор.

Где выбрать мне слова, чтобы передать, какое это было утро в сонной долине и как громко разносились с дороги голоса друзей, и какое таинственное тягучее чувство, словно мелодия, держалось в моей душе? Было наше утро на земле, и мы были молоды, и жизнь ещё только обещала нам желанные радости, перемены, неожиданные несчастья. И были живыми ещё наши матушки, друзья и много знакомых.

Мы вышли в три, Ольгу не будили, луна ещё клонилась к Анапе, речка Псебепс чуть сверкала в зарослях. Пухлые дубы на взгорьях и поблизости

стерегли тишину. Никого наши голоса не разбудили. Серая дорога тянула нас за собой в станицу. С тех пор друг мой объездил весь мир, и помнит ли он эту сельскую ночную простоту — не спрашивал.

Он на миг залетел пожалеть меня, поддержать — ну, какое ждёт друга будущее в хуторе? Придётся потерпеть.

А я так и вижу до сих пор утреннюю автостанцию, во дворе осокорь с последними листьями, у которого мы ждали посадки. Мне было грустно: друг уезжал в Москву, полетит из Краснодара, а я останусь в усадьбе среди дубов, буду проверять ошибки в тетрадках и мечтать о каникулах, когда можно будет повидаться в городе с бывшими сокурсниками и похлопать артистам в театре оперетты. Бедность моих впечатлений будет томить и ранить душу. И я уныло помахал жалеющему меня на прощанье другу и каким-то сразу пустым и брошенным покинул станцию, возле углового белого универмага стоял и так остро почувствовал, что я в станице не здешний, что я вообще после института живу нигде — ни в Новосибирске, ни в Краснодаре, ни в Варениковской, а только отбываю в усадьбе какой-то назначенный, но не известный мне срок, и куда меня с Ольгой закинет жизнь — кто сейчас скажет? А теперь, когда всё давно переменялось, мне всё стало ближе и дороже: и то, что я по-сиротски коротал миг в станице, и магазинчик с книгами в старом казачьем амбаре, и киоск, в котором я скупил московские газеты, парочку художественных журналов и “Огонёк” с напористым видом Хрущёва на обложке. Каждый раз, проезжая краем станицы и возле будочки на переезде, спрашиваю всё вокруг: неужели это я выходил возле заборов к повороту и почему Господь забрал меня отсюда? Так бы ещё на сколько лет прописался я в этом углу. В небесах, может, уже и начерчены были мои кривые дороги и тропы, а я всего лишь загадывал, мечтал и сомневался. Но для чего был мне выбрана эта дорога, черкесская речка, дубы в долине и на горе, близкая Анапа?

За будочкой на переезде железной дороги, по которой поезд ещё не добрался в Анапу, уже станица кончается.

Пройти немного от поворота, и справа будет полоса тоненьких деревьев с узкой аллеей, и я не забыл, что в то утро шёл по ней и напевал модного тогда и ещё не всем доступного Булата Окуджаву: “Эта женщина — увижу и немею. Потому-то, понимаешь, не гляжу. Ах, ни кукушкам, ни гадалкам я не верю и к цыганкам, понимаешь, не хожу”. Тогда ещё столько было в нашей душе наивной тоски и простоты... И пел я ещё подражание Евтушенко народным мотивам: “Бежит река, в тумане тает, бежит она, меня дразня. Ах, кавалеров мне вполне хватает, но нет любви хорошей у меня”. Ещё не всплеснул Николай Рубцов, не пели и попозже в Колонном зале его поклон матери: “В комнате моей светло, это от ночной звезды. Матушка возьмёт ведро, молча принесёт воды”. Месяц спустя я зайду в крохотную библиотеку с одной комнатой и возьму домой журнал “Молодая гвардия” с первым рассказом... артиста Василия Шукшина. А в журнале “Знамя”, который я купил, обнаружится рассказ Юрия Казакова “Вон бежит собака”. Вот вечернее тоскливое чтение и будет моим сельским счастьем...

Зимой снег падал редко и таял в эту же неделю.

Я жалею нынче, что мало записывал, но вот сберётся рваный листочек с моим почерком. С умилением перечитываю порою.

С большого листа, прикреплённого к белой стене, смотрела на нас из своего века “Мона Лиза” Леонардо да Винчи. У Ольги была схожесть с нею, она тайно гордилась этим, вкладывала открытки в свои блокноты, книги. Я помалкивал, но нарочно купил в Варениковской репродукцию и крепил её ночью, когда Ольга спала. Да, печка топилась, в тесных комнатках нам никто не мешал, хватало нам одного стола и двух табуреток; кастрюли и посуду выставили мы на крытую веранду.

Так бы и жили мы неизвестно сколько, и никто бы нам ничего не обещал, никуда не звал, и мой робкий характер и больное ухо сулили мне уводящее будущее. А я уже сказал, что мало думал о своей участи.

В журналах печатались писатели, с которыми всего через три года я буду здороваться в Доме литераторов на улице Герцена, а с некоторыми



и сживать за столиком в Дубовом зале, но в зимней усадьбе мне такое не могло и присниться. Горькой явится другая осень, ещё одна присплет под Анапой, а уже летом я буду в Тарусе на веранде у Казакова и ещё через одну взойду в Алушке в дом Чехова с московскими писателями, увижу то, о чём писал Паустовский в “Заметках на папиросной коробке”. И я же помню, каким был недавно несчастливым и никому в мире не нужным. Как же скоро перелетел я в высокое гнездо! Кто-то свыше коснулся меня милосердием Своим.

Прошло шестьдесят лет, и я пишу это, укрывшись в той же усадьбе в разгар коронавирусной эпидемии по всему белу свету, немислимой в советские времена.

От моего жилища было шагов сорок до круглого колодца и назад к бывшему дому управляющего поменьше. Высокий дуб прислонился к углу дома. На этой поляне время замерло. В моём домашнем досье лежит фотография: молодой учитель выливает из ведра с цепью воду в корытце, а сбоку ждёт водицы колхозная лошадь.

“Боже, верни меня назад”, — просит моя душа. Я опять буду двадцатипятилетним учителем, никому не известным и о путях своих не ведающим. Солнце садилось за Таманью и Керчью, Тамань была моею мечтою, и кто нагадал бы, что через сорок лет матушку мою примет там кладбище первых запорожцев. Все перемены к лучшему случатся так быстро.

## ИЛЮШЕ И ВАНЕ

Они и не подозревают, в каком настроении я живу, им некогда обернуться ко мне, что-то спросить, догадаться посочувствовать, они бегут за своей судьбой, как и мы когда-то, как и я, — много ли я переживал, что мать остаётся одна?

Когда я возвращался из месячной поездке в Новосибирск, меня дома никто ни о чём не спрашивал. Вернулся — опять будет помощь, зайдёт на Суворовскую, что-нибудь положит на стол, бесполезно за что-то поругает. Где он там вздыхал на разных новосибирских улицах, кого встречал — это так неважно им, и даже их маме Насте. У какого двоюродного брата ночевал, в какую деревню ездил — зачем им это? Они также не знали, на какой улице я жил и где родилась бабушка Татьяна Андреевна, и даже не знали, что я родился в Топках. Они жили не на земле, а в интернете. Два названия могли они произнести, если бы их спросили, — “Осень в Тамани” и “Наш маленький Париж”. Читать было некогда. Были зато на спектакле в Музыкальном театре.

Я долго не признавался самому себе, что уже состарился, перегнал матушку, ту её пору, когда она ждала меня со Святой земли и потом когда чувствовали меня в театре на шестидесятилетие (а она грустила в хате в Пересыпи), но вот стал просыпаться тревожно, прощально, читаю каждый день “Книгу глаголемую”, давно купленную мною в Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой лавры, читаю с тем чувством, что она и писалась, покоряюсь древнему кроткому духу и отмечаю карандашом. Читаю и порою думаю, что вы, Илюша и Ваня, не молитесь, слов Божьих не знаете, в храме не бываете и, наверное, никогда не заглянете в эту книгу, которую я беру в руки с поклоном. Там и великие мужи нашей Руси и святые. Там и сестра благоверного князя Владимира Мономаха Анна, и святые князья Борис и Глеб, и тмутараканский князь Мстислав. А как звучит старорусская речь: “...бшае муж хитр книгам и учению, милостив убогим и вдовицам, ласков же ко всякому богату и убогу, смирен же и кроток, молчалив, речист же, книгами святыми утешая печальные, и сякого не бысть прежде на Руси, ни по нем будет сяк” (о митрополите Иоанне (XII век). Нынешнему люду читать и знать такое скучно. А я выпеваю эти строчки вслух, будто сижу в том монастыре да кое-что выписываю в особую тетрадочку. Стар, стар уже и клонюсь душою ко всем заветным сородичам — к угасшим вековым затворникам и к своей родне: Гайворонским, Бывальцевым, Гольчевым и проч. “Житие преподобного Антония не дошло до нас, хотя оно существовало и в конце XI века...” И мне

жалко, что не дошло. В той Тамани, где вы любите кушать рыбку лобань, бычков, судачка, я тоже раскрываю сию книгу глаголемую. У преподобного Феодосия (Киево-Печерского) под спудом в руке свиток, а в нём написано: “се обещаю вам, братие и отцы, яко аще и телом отхожу от вас, но духом всегда буду с вами”. Понимаете, Илюша и Ваня, что это такое? Есть надежда, что со временем покоритесь преданиям, так как ты, Ваня, сказал мне в грустный свой день: “Как бы мне исповедаться?” Прервусь на странице о летописце Несторе (умер около 1114 года) и выкопаю из папок уцелевшие письма матушки, и перечитаю то, что она как-то написала по моей просьбе. У Нестора же под спудом “...в правой руке перо, а в левой книга и чётки, ризы преподобнические”. Может, не истлели.

## ЕЩЁ ОДНА ВЕСНА

Ещё раз здравствуй, двор мой одинокий. Гляжу и всё узнаю.

Вот дверь железная в хату, закрытая, не поломанная, слава Богу. Дверь в баньку. А дверь кухонная на лёгком замочке, тоже никто не тронул. И в гостиную никто вроде не залазил. А библиотека? Широкое окно таинственно скрывает комнату с книжными шкафами. Отворяю вторую железную дверь. Всё так же, всё на месте. И всё, кажется, молча, приветствует меня.

“Мам!” — звал я криком, если не было матери на виду.

А теперь... напоминало о ней молчание стен.

О матери моей, встань же и попроси меня, как бывало: “Витя, возьми сумку и сходи за хлебом...”

## ЭХО СЧАСТЛИВЫХ ДНЕЙ

После завтрака прилёт на диван закапать глаза, глядел, как обычно,

На Ольгину бабушку Мавру, её деда и между ними маленькую девочку Надю, жалел их и думал о себе. На спинке дивана краснел узкий блокнот, я его выбрал из тесноты и захотел перелистать, там записи моих первых литературных поездок в Москву, первых встреч с писателями и кое-что другое.

И застрял меж страниц пригласительный лощёный листочек, тотчас горько ранивший меня отзвуком былых времён.

*“Правление Ордена Ленина Союза писателей СССР приглашает Лихоносова В. И. пожаловать на приём по случаю окончания Пятого съезда писателей СССР в пятницу 3 июля 1971 года в 12 ч. Приём состоится в Большом банкетном зале Кремлёвского Дворца съездов”.*

Всех сразу вспомнил, увидел, помянул — уж никого почти нету на грешной земле.

## СЕМЕНА ЖИЗНИ

Какой нынче день, какое число — зачем знать? Всё непрерывно, молчаливо живёт вокруг. Но всё-таки я чувствую, как одна весна сменяет другую и подрастают в огороде деревья.

Я подхожу к поломанному рассаднику и вспоминаю, что обгоразивали мы его свежими досками перед моей поездкой в Америку. А смородина подмёрзла недавно. Уже весна. Уеду — огород будет ещё голый, а вернусь — всё уже взойдёт. И радость смешается с тоненьким вскриком: о, как летят дни, и природа не считается с тревогой людской. Опять будет пробуждение, пышность ласкового лета. Земля ждёт дождя, а его нет и нет: срываются с неба сиротливые капли и гаснут в песке; листья на фундуке, грецком орехе и яблоньке вздрогнут и опять замрут. Всё рвётся к жизни. Вдоль забора, возле картошки, разводит листочки календула. Укропчик пророс, надо убрать его от сорняка. Отцвели миндаль, вишня, я подрезал в марте ветки. Хорошо пошла вверх айва.

Надо поставить опору, косые ветки клонятся вниз. Уже прихватило пятнами орех, никак не наберёт силу помидорная рассада. Скоро запахнет мята.